

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭТНОЛОГИИ

© 1993 г., ЭО, № 2

Ю. Слезкин

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ В НОКДАУНЕ:
1928—1938

Весной 1928 г., спустя почти 11 лет после большевистской революции, Сталин втянул Советский Союз в еще один «великий перелом», на сей раз решающий и окончательный. Необходимо было, отбросив все сомнения и колебания, уничтожить замаскировавшихся и затаившихся эксплуататоров, преодолеть отсталость в стране. Россия должна была совершить еще один скачок через столетия и догнать Запад.

Сталинская революция была классовой войной, в ходе которой каждый «пережиток прошлого» был персонифицирован и социально определен. Индустриализация предполагала разоблачение вредителей из числа буржуазных инженеров; коллективизация была невозможна без классового расслоения и последующего раскулачивания; борьба с бюрократизмом заключалась в избавлении от социально чуждых бюрократов. В каждой деревне, в каждой профессии были свои темные силы прошлого, которые в ходе «великого перелома» слились в единый вражеский лагерь. Отказ вступить в колхоз или одобрить передовое литературное течение ставил отступника в один ряд с террористами, шпионами и саботажниками. Буржуазные этнографы были столь же опасны, как и нераскаившиеся кулаки, а ошибки в «теории отсталости» столь же пагубны, как и сама отсталость. Реальность и ее интерпретация слились воедино и обрели дар речи. «Враг» превратился в духа шамана: вездесущий, вероломный и вечно меняющий обличье. По словам одного этнограф-сталиниста, «в ожесточенной предсмертной борьбе классовый враг разнообразит, видоизменяет оттенки, формы борьбы, пускает в ход все средства, мобилизует все силы, от религии до школы, от кабинетного теоретика до жулика или пацифиста, от якобы невинного исследователя до наглого вредителя, от социал-фашиста до открытого бандита-поджигателя. Было бы смешно думать, что вредитель, вооруженный „учеными“ очками, менее страшен, чем его соратник, вооруженный газовой или иной смертоносной маской»¹.

Распознать врага среди кабинетных теоретиков было не легче, чем выявить эксплуататора среди юкагиров. Чтобы определить, кто есть друг, а кто враг, нужно было уяснить разницу между передовой и вредной теориями, но ни классики марксизма, ни текущие партийные директивы не содержали четких указаний, как это сделать в каждой конкретной отрасли. Новые правители страны исходили из того, что всякое «объективное явление» поддается лишь одному единственно верному истолкованию и что абсолютным критерием истины служит верность теории Маркса — Энгельса — Ленина. В принципе правительственные чиновники могли издавать циркуляры по всем теоретическим вопросам во всех отраслях знания, от педагогики до химии. Однако в 20-е годы они почти никогда этого не делали: «старая гвардия» полагала, что политическая конъюнктура и социальный этикет в какой-то мере сужали сферу социального диктата. Вместо этого они ограничили доступ в профессии с помощью системы социального отбора в вузы в надежде на то, что здоровые социальные корни дадут здоровые теоретические ростки².

Надежды эти в значительной степени оправдались. К началу сталинской революции в большинстве научных учреждений работали молодые специалисты, получившие образование при советской власти и полные желания преобразовать свои отрасли в соответствии с марксистскими принципами. Гордые своим социальным взлетом, но не уверенные в своих профессиональных возможностях, эти научные выдвиженцы были безоглядно преданы людям и идеологии, вытащившим их из «болота невежества», и не доверяли своим буржуазным профессорам (а позже коллегам), которые были старше, опытнее и лучше подготовлены³. В политическом отношении у молодых коммунистов было безусловное преимущество, или по крайней мере хорошие перспективы на будущее: они внедряли официальную парадигму в свои области и всегда могли заявить, что любое несогласие с ними равносильно контрреволюции. На «теоретическом фронте» дело обстояло сложнее. Что предписывает марксизм в каждом конкретном случае? Экспериментальный авангард или подлинно народные формы в искусстве? Механизм или диалектику в философии? «Материалистический» биологизм или активное социальное конструирование в психологии? В разных областях дискуссия проходила по-разному. К 1928 г. Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) прочно сидела на писательском Олимпе; физиологи, реактологи и рефлексологи вытеснили «субъективных» психологов, но продолжали воевать между собой; а историки-марксисты дружно шагали за Покровским, но сравнительно мирно сосуществовали со своими коллегами-немарксистами⁴.

Из дисциплин, подпадавших под рубрику традиционного марксизма, этнография в наименьшей степени ощутила на себе влияние большевизма. В сознании большинства она ассоциировалась с изучением отсталых народов и экзотических обычаев и потому не очень привлекала коммунистическую молодежь, жаждавшую «настоящего дела» и теоретических баталий. Кроме того, лидеры немарксистской этнографии Лев Штернберг и Владимир Богораз плохо подходили на роль буржуазных ученых. Бывшие народовольцы, оба пострадали за правое дело, а Штернберга заметил сам Энгельс.

Определение этнографии (этнологии) как науки было предметом живой дискуссии. В Западной Европе и в Соединенных Штатах новая дисциплина стремительно развивалась, но классический эволюционизм пришел в упадок: послевоенный скептицизм поставил под сомнение как глобальный процесс, так и «психическое единство человечества», а новая концентрация усилий на полевых исследованиях привела к открытиям бесчисленных случаев регресса и тем как бы подтверждала эти сомнения. Теории универсального развития вышли из моды, и Моргана, Тайлора и Спенсера ругали за чрезмерное теоретизирование и за использование тенденциозно отобранных и непроверенных данных. Новыми девизами стали прагматизм и «научность», а наиболее популярными темами — миграции и диффузия. В то же время частые вторжения социологии и психологии на этнографическую территорию вызывали споры относительно границ общественных наук, а, следовательно, и будущего научных учреждений.

Россия 20-х годов была благодатной почвой для новых течений. Молодые ученые и политики были жрецами материализма, естественных наук и «неограниченных возможностей» науки и техники. Модные пророки от науки утверждали, что любую общественную науку можно «разложить» до ее механической или биологической первоосновы или усовершенствовать при помощи «истинно научных» методов. В этнографических кругах хвалили Боаса, но больше всех почитали Ратцеля, Фробениуса, и особенно школу культурных кругов Гребнера и Шмидта. Богораз писал: «Лет 20 назад этнография знала лишь два подхода к изучению: или отдельное описание данных племен, или построение широких всемирных обобщений, основанных на материале поверхностном и некритически подобранном. В настоящее время рядом с широкими обобщениями надо строить другие, более узкие, охватывающие естественную

связь народов и групп, живущих в соседстве, связанных общим происхождением (хотя и не всегда), а более того соединенных в один географический комплекс общими и естественными условиями и общими достижениями культуры, созданной в результате взаимных влияний»⁵. Сам Богораз разрабатывал (и преподавал) так называемую этногеографию, смысл которой состоял в конструировании «истории культуры как равнодействующей трех факторов: географического, антропологического и экономического». Речь шла о распространении культуры по геометрическим законам, о положительных и отрицательных «переменных токах культуры» и о взаимном отталкивании рас⁶. Мало кто из коллег Богоразы соглашался с подобной постановкой вопроса, но все были так или иначе подвержены духу экспериментаторства. Даже Штернберг, который остался до конца верен классическому эволюционизму, увлекся некоторыми положениями теории Фрейда и ввел их в свои работы⁷.

Среди противоборствующих течений и теорий не видно было марксизма. Существовали этнографы-марксисты, но не существовало марксистской этнографии. В 1924 г. один воинствующий атеист обвинил этнографов в «бесплодном теоретизировании» (стандартная формулировка из арсенала молодых активистов) и добавил, что так называемая «„полевая этнография“, размещившаяся под сенью Географического института» (детища Штернберга), отдает «сильным душком старомодного народничества»⁸. Летом того же года, когда в вузах проводились чистки от «социально чуждых элементов», группа «пролетарских» студентов из Географического института обратилась в Москву с жалобой, в которой высказывалось недовольство учебной программой (Штернберг и Богораз были в то время за границей). Когда занятия возобновились, институт был вынужден включить в программу курсы по марксистской теории и текущей политике и сократить все негуманитарные предметы. В конце учебного года институт был передан Ленинградскому университету и потерял всякую административную автономию. Впрочем, дело создания марксистского направления в этнографии от этого не выиграло. В научных изданиях было мало марксизма, а в научных обществах — мало марксистов. Число юных иконоборцев росло, но в 1928 г. они не имели ни своей организации, ни теоретической платформы (и по-прежнему изучали этногеографию).

Таким образом, когда Сталин провозгласил начало классово войны и объявил всех ученых-немарксистов врагами революции, атака на этнографию началась извне. Первый удар нанес В. Б. Аптекарь из Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК), который обвинил Богоразу в скрытом противодействии марксизму и обрушился на «отношение ученого мира к яфетической теории Н. Я. Марра, которая подвергается самой безобразной — в особенности принимая во внимание условия советской России — травле»⁹.

У Н. Я. Марра и его учеников из ГАИМКа были все основания не жаловаться «ученый мир» в целом и этнографию в особенности. Еще будучи молодым, грузинский лингвист Марр выступил против «индоевропейского уклона» академического языкознания, ведущего к игнорированию, унижению и колонизации других языков (в том числе грузинского) точно так же, как их носителей. Аналогичным образом — и тоже в результате классового снобизма — изучение «живой разговорной речи» приносилось в жертву монополии «литературного языка».

Марр считал своей научной целью и моральным долгом восстановить справедливость и положить конец лингвистическому империализму как в национальной, так и в социальной сферах.

В конце 20-х годов Марр стоял на пороге победы. Сделав карьеру на волне механического материализма, он сформулировал революционную «новую теорию о языке» («яфетическая теория») и стал чем-то вроде старейшины среди ученых-марксистов. Согласно Марру, язык является частью надстройки и отражает циклические изменения в базисе. Другими словами, язык историчен

и, как любой другой надстроечный институт, имеет тенденцию к прогрессу. Индоевропеистика, предполагающая постоянную фрагментацию протоязыка (т. е. движение «от единственности к множественности»), абсурдна и по сути своей идеалистична. Реальная история языка, как и история общества, которое он обслуживает, есть процесс неуклонного сближения вплоть до полного слияния при коммунизме. На смену бесчисленным «диффузным» и «моллюскообразным» языкам первобытно-общинного строя пришли более совершенные языки последующих формаций, но их четыре основных элемента — сал, бер, йон, рош (соответствующие названиям первоначальных «тотемистических производственных объединений») — остались неизменными компонентами человеческой речи. Все без исключения слова всех существующих языков в конечном счете восходят к одному из этих четырех элементов. В то же время так называемые языковые семьи отражают различные, но исторически взаимосвязанные стадии развития. Китайский язык есть реликт древних моносиллабических и полисемантических языков; далее на шкале эволюции идут урало-алтайские, яфетические (грузинский и другие кавказские) и, наконец, семитские языки. Иначе говоря, история языка состоит из линейной, синтетической, агглютинативной и флексивной стадий, каждая из которых соответствует определенной социально-экономической формации и развивается диалектически (т. е. сменяя предыдущую путем революционного «скачка»). Это означает, что все языки связаны между собой исторически и семантически, что все внесли свой вклад в глобальный «глоттогонический процесс» и что ни один из них — за исключением коммунистической речи будущего — не имеет преимущества над остальными. Таким образом, формализм индоевропейской теории был преодолен, языковое единство человечества было восстановлено, а наука о языке стала частью истории. Главная задача «новых лингвистов» состояла в реконструкции эволюции материальной культуры с помощью лингвистических методов (отсюда название академии)¹⁰.

Интеллектуальное и эмоциональное содержание теории Марра предполагало отрицательное отношение к этнографии. С его точки зрения, этнографы искусственно и злонамеренно отделили историю угнетенных классов и бесписьменных народов от всеобщей истории человечества и ограничили себя изучением того, что буржуазные историки и лингвисты отбросили за ненадобностью. Подлинно марксистская наука не нуждалась в их услугах¹¹. Другой причиной энтузиазма, с которым Марр и его юные ученики откликнулись на призыв к классовой борьбе, было то, что, несмотря на свои «выдающиеся научные достижения» (или, с их точки зрения, в результате зависти к их выдающимся научным достижениям), они так и не сумели пробиться в академическую элиту и приобрести серьезную репутацию. Марра регулярно называли шарлатаном, его четыре элемента — алхимией, а диссертации его учеников — «голой фантастикой»¹². Культурная революция была идеальной платформой для сведения счетов.

Революция в этнографии началась в апреле 1929 г., когда ГАИМК организовал Совещание этнографов Москвы и Ленинграда. Выступавший от «хозяев» В. Б. Аптекарь заявил, что этнология рассматривает понятия «культура» и «этнос» в отрыве от производственных отношений и, следовательно, является «буржуазным суррогатом обществоведения». Поиск «сил развития» в надстройке, а не в базисе, ставил проблему «на голову» и противоречил самой сути единственно верного подхода к изучению культуры — исторического материализма. Марксизм и этнология были несовместимы: теоретическая этнология была классовым извращением, а практическая этнография ничем не отличалась, да и не могла отличаться, от марксистской социологии¹³.

Перед молодыми этнографами-большевиками стояла серьезная проблема. С одной стороны, им не терпелось низложить своих буржуазных руководителей и разгромить негостеприимный академический мир. С другой стороны, они сами теперь были частью этого мира и горели желанием доказать полезность

своих свежеприобретенных знаний в деле строительства марксистской науки и социалистического общества. Большинство из них сочувствовало различным упрощениям в интеллектуальной сфере и организационным сокращениям, но было не вполне готово к тому, чтобы их самих объявили несуществующими. После долгих дебатов совещание приняло тезисы Аптекаря в отношении этнологии, которая была квалифицирована как буржуазная попытка создания отдельной науки о культуре, но настояло на сохранении практической этнографии как «исторического изучения конкретных во времени и пространстве человеческих обществ и отдельных культурных явлений»¹⁴. Чем подобное изучение отличалось от марксистской историографии, не разъяснялось — по всей вероятности потому, что авторы резолюции сами этого не знали. Что они действительно знали, так это то, что их работа должна принести пользу, должна быть частью партийной борьбы за лучшее будущее. Практические задачи советской этнографии заключались в изучении жизни народа в эпоху «великого перелома» и участия в последнем самих этнографов¹⁵.

Как и прочие проявления культурной революции, перелом в этнографии предполагал борьбу с врагами. В течение 3 лет после совещания молодые радикалы, косвенно поддерживаемые партийными руководителями (во всяком случае так все думали), вели войну с немарксистскими учеными, организациями, изданиями и темами. Музеи были закрыты, научные общества разогнаны, преподавание этнографии приостановлено, а преподаватели этнографии подвергнуты гонениям¹⁶. По мере усиления восторга разрушения, росло число врагов, запретных тем и «подрывных действий». В то же время классовый и возрастной аспекты кампании становились все более очевидными: «революционеры» обвиняли «контрреволюционеров» в «индивидуалистических классовых привычках», приведших «к кастовой замкнутости и иерархическому делению»¹⁷, а также в написании книг, «затуманивающих мозги молодого поколения наших ученых»¹⁸.

На ранних этапах культурной революции немарксисты еще оказывали некоторое сопротивление. На совещании 1929 г. П. Ф. Преображенский защищал этнологию и школу «культурных кругов», а В. Г. Богораз осторожно заметил, что этнография в конечном счете шире, чем лингвистика. Позже, когда задор наступавших усилился, а различие между «учеными очками» и «газовой маской» исчезло полностью, большинство старых профессоров либо совсем замолчали, либо, как Преображенский и Богораз, честно попытались стать марксистами¹⁹.

На их беду, и в 1931 г. сделать это было не легче, чем в 1929-м. С одной стороны, быть марксистом значило обнаруживать и анализировать классовое расслоение и классовую борьбу. Это было политическим требованием: цели коллективизации не могли ставиться под сомнение, а коллективизация предполагала наличие классов. С другой стороны, никто из этнографов-марксистов не сомневался, что их первоочередной теоретической задачей было определить место данного общества в ряду социально-экономических формаций и, таким образом сориентировавшись, приступить к изучению взаимодействия базиса и надстройки и рассмотрению конкретных экономических, социальных и духовных явлений. При этом они исходили из того, что этнография есть та часть истории, которая занимается первобытно-общинным строем. Иначе говоря, полезность этнографов в деле построения социализма состояла в их способности вскрывать классовые структуры, задача же их как ученых заключалась в изучении обществ, которые по определению не имели классов. Поиски путей преодоления этого противоречия привели к серьезной терминологической путанице и мучительным сомнениям относительно смысла существования этнографии²⁰.

Неожиданная помощь пришла от психологов. Пока этнографы без особого успеха старались стать марксистами, психологи-марксисты ускоренно изучали «отсталые народы». Идеальной предпосылкой «великого перелома» была вера

в бесконечную изменчивость человеческой психики и безусловный приоритет социальной среды. Среда несла всю ответственность за отсталось и различные предрассудки, а, следовательно, революционное преобразование среды должно было привести к быстрым и предсказуемым изменениям в человеческом сознании. Теоретическим обоснованием и методологией изучения этих процессов занималась особая наука «педология», или прикладная детская психология. Используя различные методы тестирования, педологи измеряли и предсказывали степень и формы психологической изменчивости в различных условиях и тем самым ставили человеческую инженерию на «подлинно научную основу». В этом контексте «примитивный» ребенок был наиболее привлекательным и благодатным объектом изучения, «особенно памятуя, что этот человеческий организм должен ускоренным темпом развиваться и расти, перескакивая через целые исторические периоды»²¹. С помощью педологии можно было «ускорить процесс переключения различных национальностей, в особенности же отсталых, на рельсы советской техники, экономики и идеологии»²². Иными словами, «нам нужен строитель — член будущего коммунистического общества. У нас есть бывший охотник, животновод, пчеловод, кочевник и оседлый хлебороб. Как мы можем его переделать в кратчайший срок в психологическом отношении так, чтоб он неотложно стал членом коммунистического общества, какие изменения среды дадут наиболее эффективные результаты в этом отношении — вот что нас интересует»²³.

Этнографы были сбиты с толку, и доиндустриальные народы СССР стали легкой добычей педологов. Научные экспедиции направлялись в Сибирь и Среднюю Азию, и студенты-стажеры измеряли коэффициент интеллектуального развития местных детей²⁴. Педологи вскрывали причины различных проявлений отсталости, вызванные воздействием среды, и давали рекомендации по их быстрейшему искоренению. Однако вскоре они столкнулись с серьезными трудностями. По результатам большинства тестов, местные дети оказались настолько умственно отсталыми, что потребовался коренной пересмотр методик тестирования. Поначалу это не слишком волновало исследователей: большие различия как в социальном, так и в природном окружении делали подобные открытия закономерными. Но с течением времени все увеличивалось число педологов, которые стали склоняться к мнению, что на преодоление этих различий потребуется больше времени и усилий, чем первоначально предполагалось. В ряде случаев многочисленные и устойчивые особенности «примитивного мышления» уводили исследователей от социальной среды к изучению биологической и психологической уникальности отсталых народов²⁵. Триумф выставки рисунков студентов — представителей коренных народов — в Институте народов Севера, казалось, подтверждал эту точку зрения: влиятельные критики-авангардисты хвалили их за «высокую формальную культуру» и предупреждали против навязывания «европейских условностей» людям, которые обладают «особым, отличным от нас художественным мировоззрением»²⁶.

Все это было неприемлемо ни для партийных лидеров, ни для большей части новой советской интеллигенции, видевших в любом намеке на биологический («расовый») детерминизм нападки на революцию и на свой собственный статус. «Если бы мы встали на точку зрения, что расовые и национальные особенности настолько существенны, что на их преодоление потребуются многие тысячелетия, — писал Бухарин на заре „великого перелома“, — то, естественно, вся наша работа была бы абсурдом»²⁷. Первоходным грехом педологии было то, что, сколь бы оптимистичными ни были исследователи и как бы они ни верили в психическое единство, самая формулировка их целей предполагала существование пределов изменчивости, по крайней мере во времени²⁸. Педологи исходили из тезиса, что определенные факторы окружающей среды тормозили человеческое развитие, и считали своей первоочередной задачей поиск путей преодоления этих факторов. Тем самым

они не могли не вызвать раздражения у определенных групп, рекомендуя особую (обычно весьма долгосрочную) стратегию образования по отношению к женщинам, национальным меньшинствам и угнетенным социальным группам²⁹.

Еще более плачевным был тот факт, что в то время, как первая пятилетка успешно меняла облик страны, результаты тестирования не отражали аналогичных перемен в сознании людей. А так как темпы, масштаб и правильность «великого перелома» не могли подвергаться сомнению, то вина за подобные расхождения лежала на тестах и на людях, которые эти тесты составляли. К середине 1932 г. педология начала разрушаться под тяжестью обвинений — а затем и признаний — в некомпетентности, клевете на советских детей и других политически вредных действиях³⁰. Официальная смерть молодой науки наступила не сразу, но в новой эре сознательности, личного примера и кадров, «решающих все», места ей не было³¹. Все народы, в том числе самые отсталые, стали объектом небывалых перемен, а безошибочным проводником этих перемен должна была стать система образования. При отсутствии «клевветнических» тестов, изменения — и вызванные влиянием среды, и психологические — могли постулироваться как данность. Дело было за учителями-практиками³².

Педология была не единственной наукой, которая пришла к неверным выводам относительно «отсталых народов». Самое существование этнографии предполагало, что некоторые группы настолько отстали в своем развитии, что не «вписывались» в современность. Крайне сомнительная изначально, этнография была первым кандидатом на упразднение или самоуничтожение. В начале 1932 г. Н. М. Маторин, в прошлом провинциальный атеист и борец со скрытым народничеством, а к тому времени признанный лидер советских этнографов, объявил, что продолжение полевых работ в современных условиях есть проявление империализма. На совещании 1929 г. он возглавлял прагматиков в их борьбе против аболиционистов и настаивал на сохранении особой роли для этнографии, теперь же согласился, что этнография есть не что иное, как первая глава в учебнике истории. «Термин „этнография“ может поэтому сохранить условное значение для той части исторического знания, которая связана с доклассовым обществом и его пережитками»³³. Это означало, что те аспекты реальности, которые уже «прошли» через «великий перелом», не могли изучаться этнографами, так как это ставило под сомнение эффективность социалистических преобразований. «Для меня сейчас ясно, что в изучении какого-нибудь колхоза или совхоза с высокоразвитой техникой нет ничего специфически „этнографического“»³⁴. А так как теоретически все колхозы и совхозы были оснащены высокоразвитой техникой, то большинство этнографов оставалось без работы.

Логический шаг отказа от названия, которое практически потеряло всякий смысл, был сделан на Всероссийском археолого-этнографическом совещании в мае 1932 г. На основании выступлений Н. М. Маторина и главного археолога С. Н. Быковского (ученика Марра) совещание формально отлучило обе науки от марксизма. Археологию обвинили в идеализации формального «вещеведения», а этнографию — в эклектизме, буржуазном национализме и великодержавном шовинизме. Науки могли быть подлинными (т. е. марксистскими) постольку, поскольку они изучали особые формы движения материи (объективные законы развития). Однако ни раскопки материальных ценностей, ни «техника непосредственного наблюдения живых общественных организмов» не отражали определенных законов действительности, и, следовательно, отделение марксистской этнографии от буржуазной этнологии было «не только теоретически несостоятельным, но и сугубо вредным, дезориентирующим, прикрывающим левой фразой правую сущность и всяческие формы буржуазного и мелкобуржуазного приспособленчества и эклектизма»³⁵. Археология и этнография были по сути ничем иным, как конкретными методами сбора исторической информации, и любое другое мнение было преступлением против

марксизма. Даже сохранение особого имени за той отраслью исторической науки, которая занималась «первобытными народами», было данью колониализму³⁶. Чем заниматься изобретением несуществующих наук, историки данного профиля должны скрупулезно изучать вопросы, поднятые Марксом, Энгельсом и Лениным, а именно «а) процесс этногенезиса и расселения этнических и национальных групп, б) материальное производство в его конкретных вариантах, в) происхождение семьи, г) происхождение классов, д) происхождение и формы религии, искусства и других надстроек, е) формы разложения первобытно-коммунистического феодального общества в условиях капиталистического окружения, ж) формы перехода докапиталистического общества непосредственно к социализму, минуя капитализм, з) строительство культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию»³⁷.

Маррова победа состоялась не вовремя. В октябре 1931 г. письмо Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» возвестило о начале конца культурной революции³⁸. Радикальное экспериментаторство, утопизм, научные погромы и профессиональный аболиционизм были вредны в условиях кампании за «консолидацию усилий», тем более, что новое поколение партийных руководителей явно считало культурное и академическое иконоборчество дурным вкусом. Учителя и дисциплина возвращались в школу, романтические герои — в литературу, «мещанские ценности» — в семейную жизнь и наказание — в юриспруденцию. Равенство было объявлено смехотворным мелкобуржуазным изобретением, и те институты, которые должны были «отмереть», успешно самоутверждались. «Культурное наследие» и его помятые жрецы постепенно сменяли своих бывших гонителей, а ныне «левых уклонистов».

В этой атмосфере решения совещания прозвучали грубым диссонансом. Вскоре после того как Маторин и Быковский успели забыть, когда последний раз упоминалось о раздельном подходе к «историческим» и «неисторическим» народам, Центральный комитет партии издал постановление, направленное против ошибок в практике проведения коллективизации в районах Севера, в котором объявил допущенную уравниловку корнем зла и призвал к решительной борьбе «против грубого механического перенесения в отсталые туземные районы Крайнего Севера опыта передовых районов Союза»³⁹. С точки зрения новой партийной линии этнография была повинна в крайности, прямо противоположной той, за которую поплатилась педология. Публикацию резолюции совещания пришлось предварить редакционным отречением, в котором констатировалось, что «похороны» этнографии и археологии были результатом «левацкого упрощенчества» и вели «к нигилистическому отрицанию роли старого наследия в науке»⁴⁰. Прошла волна самокритики, и советская этнография осталась существовать. Более того, поскольку не было прямого партийного вмешательства, Маторин, Быковский и их соратники не только остались во главе советской этнографии, но и преуспели в реализации своей платформы. (В этом им помогла дезориентация большинства ученых: они не знали, что делать в изменившихся условиях и, за неимением альтернативы, придерживались минималистской платформы Марра). Экспедиционная работа и изучение современного общества прекратились почти полностью, а на смену им пришли толкования яфетических построений Марра и «Происхождения семьи» Энгельса. Этнография окончательно превратилась в теорию первобытно-общинного строя, и споры велись вокруг происхождения классов, проблемы внутренних противоречий в доклассовом обществе и роли пережитков в ходе эволюции⁴¹.

Таким образом, все доиндустриальные народы СССР превратились в пережитки. Поскольку настоящее было определено как социалистическое, несоциалистическая реальность осталась в прошлом. В одночасье народы, не имевшие истории, были оптом переданы ей. Косвенным упреком всем тем, кто все еще думал (или полагал своим долгом утверждать), что не существует жизни без классовой борьбы, явилось сталинское письмо в журнал «Проле-

тарская революция», в котором он заявил, что краеугольным камнем политики большевиков всегда была ставка на союз с «угнетенными народами и колониями», а не с угнетенными классами этих народов⁴². Следствием этого выступления стало появление многочисленных работ о борьбе коренных народов против царского колониализма — тенденции, получившей официальное одобрение газеты «Правда» от 27 января 1936 г.⁴³.

Однако традиционные («примитивные») субъекты этнографии не стали просто эпизодами из истории русского империализма. В первую очередь они представляли собой стадии эволюции человечества. В соответствии с новыми задачами этнографии/истории главной целью исследователей было определить, на какой стадии развития находится изучаемое общество, и предложить оптимальные пути дальнейшего прогресса. Занятие это было по-прежнему сопряжено с серьезными опасностями, и большинство участников дискуссии сражалось с логическими последствиями собственных суждений или с обвинениями в искажении марксизма. Старые этнографы вынуждены были согласиться с политической установкой на выявление эксплуататоров в обществах, которые они считали бесклассовыми, в то время как радикалы продолжали утверждать, что охотники и собиратели каким-то образом перешли в феодальную или даже капиталистическую стадию без соответствующих изменений в экономике. Этой последней точки зрения придерживались в основном практики коллективизации и те бойцы культурной революции, для кого классовая борьба была образом жизни. Законность их позиции основывалась на принятии «великого перелома» как безусловной данности и на положении Энгельса, что в доклассовом обществе «без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей, наместников, префектов и судей, без тюрем, без процессов — все идет своим заведенным ходом... Бедных и нуждающихся быть не может — коммунистическое хозяйство и род знают свои обязанности по отношению к престарелым, больным и изувеченным на войне. Все равны и свободны, не исключая женщин»⁴⁴.

Можно ли все сказанное отнести к какому-нибудь народу СССР? — спрашивали радикалы. И отвечали: нет, нельзя. Иначе говоря, первобытно-общинное (доклассовое, родовое) общество более не существует; все ныне наблюдаемые элементы подобных отношений суть патриархальные пережитки в более поздних формациях. Понятие пережитков лежало в основе большинства аргументов: оно обеспечивало почти безграничную гибкость анализа, позволяя исследователю с легкостью избавляться от любых фактов, не подпадавших под принятое определение. Более того, в глазах профессиональных искателей эксплуатации пережитки были ничем иным, как циничной кулацкой мистификацией, искусственно поддерживаемой «под лозунгом родовой солидарности и кровного родства»⁴⁵. Традиционные родовые объединения рассматривались как рассадники воинствующей отсталости, «препятствие на пути социалистического строительства и инструмент классового врага»⁴⁶. В конечном счете, нерусские эксплуататоры приравнивались к русским эксплуататорам, а следовательно, к капиталистам или по меньшей мере феодалам, в то время как принадлежность изучаемого общества к определенной социально-экономической формации терялась среди пережитков. Единственной абсолютной ценностью была борьба с кулачеством и борьба с «неонародниками» («правыми оппортунистами»), которые были настолько близоруки или бесчестны, что принимали пережитки за подлинные коллективные объединения⁴⁷.

Со своей стороны «правые оппортунисты» обвиняли радикалов в теоретическом невежестве, а порой и в троцкизме. Вдохновленные официальной кампанией против «левацкого упрощенчества», они настаивали, что некоторые — в особенности приполярные — общества не знали ни капитала, ни прибавочной стоимости, ни аграрного пролетариата; что идиллическая картина первобытного общества была примером мелкобуржуазной уравниловки, столь высмеиваемой товарищем Сталиным; и что традиционные родовые коллективы можно и

должно использовать при создании новых коммунистических коллективов⁴⁸. В принципе политический климат, сложившийся в Москве после 1932 г., был благоприятным для подобных заявлений, но все попытки последовательно развить эту аргументацию натолкнулись на серьезные проблемы концептуального порядка. С одной стороны, нельзя было отрицать наличие классовой борьбы в эпоху коллективизации; с другой стороны, самое широкое определение первобытно-общинного строя исключало существование классов. Как и в XVII в., «дикарей» описывали при помощи перечней черт и предметов, которыми они *не* обладали, с той лишь разницей, что сейчас картина не была статичной: «отсталые народы» обычно изображались в движении из пункта А в вечно приближающийся пункт Б. По словам одного из руководителей Комитета Севера (созданного в 1924 г. по образцу американского Бюро по делам индейцев), малые народы находились на стадии «перехода от натурального хозяйства к товарному... и... от доклассового родового... к обществу классовому», в то время как другой теоретик Комитета предположил, что приполярные общества представляли собой «систему недоразвитых крепостных отношений»⁴⁹. Даже направление эволюции представлялось проблематичным. Почему «дородовое» чукотское общество было более «высокоразвито», чем «родовое» юкагирское? Почему, чем дальше от российского рынка, тем глубже классовое расслоение и выше экономическое развитие? Почему заготовка мехов на рынок привела к меньшему накоплению капитала и меньшему количеству эксплуататоров, чем натуральное оленеводство? Более того, если среди коренных северян не было полноценных классов, то какое антагонистическое противоречие лежало в основе их исторического развития? И почему 200 лет «русского крепостнического капитализма» не произвело на свет классов, если он «действовал в Сибири со всем цинизмом первоначального накопления»?⁵⁰

Спор так и не был разрешен, когда в 1936 г. последние участники дискуссии сошли со сцены. «Неонародники» лишились своей административной и издательской базы после закрытия Комитета Севера, как «выполнившего свою задачу», а радикалы были обвинены в ереси и объявлены вне закона вместе с их полунаукой этнографией и их журналом «Советская этнография». «Враги народа, троцкисты-зиновьевцы» Маторин и Быковский были арестованы, так как «занимались контрреволюционной фальсификацией марксизма-ленинизма и взяли прямой курс на ликвидацию тех наук, которые разрабатываются в институте, явившемся ареной их подлой деятельности... Вместо конкретного изучения фактов на основе методологии марксизма-ленинизма они занимались в своих писаниях псевдосоциологической схоластикой и требовали этого от других, дезориентируя целый ряд научных работников, отклоняя их от выполнения прямых задач, стоящих перед институтом»⁵¹. Дезориентированные подобным образом, молодые ученые погрузились в «абстрактные формально-логические поиски закона противоречия развития доклассового общества», подменив истинно научное знание «трескучей, но совершенно бессодержательной фразеологией о стадильности»⁵².

Слова обвинительного акта, казалось, свидетельствуют о возвращении старой этнографии, однако неуверенность, страх и смятение были столь сильны, что оставшиеся на свободе этнографы почти полностью лишились дара речи. Полевая работа игнорировалась, а некоторые старые профессора (в том числе Преображенский, наиболее решительный «буржуазный» оппонент Маторина), последовали в тюрьму за своими обвинителями. В то же самое время «ложнонаучные эксперименты» и «бесмысленные и вредные тесты» педологов были окончательно запрещены специальным постановлением Центрального комитета партии⁵³. Что до марксистской лингвистики, то она дожила до 1950 г., когда Сталин лично разжаловал Марра и положил конец «трескучей фразеологии о стадильности».

К тому времени этнография вернулась в строй. Возрожденная во время войны в обличье 1932 г., она как бы продолжила дело Маторина и Быковского,

занялась изучением этногенеза, материальной культуры, происхождения классов и скачков через капитализм. Во главе дисциплины в 1950-е годы стояли радикалы-марксисты, которые пережили чистки и, с одобрения Сталина, реконструировали этнографию как науку о культуре, «национальной по форме и социалистической по содержанию». Но это уже другая история, вернее предыстория другого «великого перелома».

Примечания

- ¹ Хотинский Б. XVI съезд партии и наши задачи//Этнография. 1930. № 4. С. 5.
- ² Fitzpatrick Sh. Educational and Social Mobility in the Soviet Union 1921—1934. Cambridge, 1979. P. 89—112.
- ³ Fitzpatrick Sh. Cultural Revolution as Class War//Cultural Revolution in Russia. Bloomington, 1978. P. 28—31.
- ⁴ Barber J. Soviet Historians in Crisis 1928—1932. L., 1981; Bauer R. The New Man in Soviet Psychology. Cambridge, 1952; Brown E. The Proletarian Episode in Russian Literature. N. Y., 1953; Fitzpatrick Sh. Cultural Revolution as Class War; Joravsky D. Soviet Marxism and Natural Science. N. Y., 1961; Graham L. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party 1927—1932. Princeton, 1967.
- ⁵ Богораз В. Г. XXI конгресс американистов//Этнография. 1926. № 1—2. С. 129.
- ⁶ Богораз В. Г. Распространение культуры на земле: основы этногеографии. М., 1928; *его же*. К вопросу о графическом методе анализа элементов этногеографии и этнографии//Этнография. 1928. № 1. С. 3—10.
- ⁷ Штернберг Л. Я. Избранничество в религии//Этнография. 1927. № 1.
- ⁸ Маторин Н. М. Современный этап и задачи советской этнографии//Советская этнография (далее — СЭ). 1931. № 1—2. С. 12.
- ⁹ Аптекарь В. Б. Выступление на обсуждении книги Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы»//Историк-марксист. 1928. № 8. с. 115.
- ¹⁰ Быховская С. О бесписьменных языках (в освещении яфетической теории)//Просвещение национальностей. 1930. № 3. С. 51—54; Быковский С. Н. Яфетический предок восточных славян — киммерийцы//Изв. ГАИМК. 1931. № 8. С. 1—12; Худяков М. Г. Графические схемы исторического процесса в трудах Н. Я. Марра//СЭ. 1935. № 1. С. 18—41; Кусикьян Н. Н. Я. Марр и его учение о языке//Просвещение национальностей. 1933. № 6. С. 5—10; Марр Н. К задачам науки на советском Востоке//Просвещение национальностей. 1930. № 2. С. 11—15. Мещанинов И. И. Николай Яковлевич Марр//СЭ. 1935. № 1. С. 8—16.
- ¹¹ Марр Н. Указ раб.; Быховская С. Указ. раб.
- ¹² Аптекарь В. Б., Быковский С. Н. Современное положение на лингвистическом фронте и очередные задачи марксистов-языковедов//Изв. ГАИМК. 1931. № 10. С. 31—34; Быковский С. Н. Яфетический предок ... С. 1.
- ¹³ Совещание этнографов Ленинграда и Москвы//Этнография. 1929. № 2. С. 115—116.
- ¹⁴ Там же. С. 118.
- ¹⁵ Там же. С. 118—123.
- ¹⁶ Толстов С. П. К проблеме аккультурации//Этнография. 1930. № 1—2. С. 87; Маторин Н. М. Современный этап... С. 34; Этнографическая секция общества историков-марксистов при ленинградском отделении Коммунистической академии//СЭ. 1931. № 1—2. С. 155. Ленинградское общество изучения культуры финно-угорских народов//Там же. С. 156. Худяков М. Г. Критическая проработка руденковщины//Там же. С. 167—169; К организации Музея истории религии//Там же. С. 171—172; Быковский С. Н. Этнография на службе классового врага//СЭ. 1931. № 3—4. С. 4; Майзель С. 13 лет академической арабистики//Там же. С. 251—254; Разманов И. Против идеализма профессорской «учености» и шовинистических теорий//Просвещение национальностей. 1931. № 7—8. С. 94—97; Эрсари. Об одном участке научно-теоретического фронта//Революция и национальности. 1932. № 7. С. 95—98; Маторин Н. М. 15 лет Октябрьской революции//СЭ. 1932. № 5—6. С. 13.
- ¹⁷ Ленинградское общество ... С. 156.
- ¹⁸ Быковский С. Н. Этнография на службе классового врага. С. 4.
- ¹⁹ Богораз В. Г. К вопросу о применении марксистского метода к изучению этнографических явлений//Этнография. 1930. № 1—2. С. 3—56; *его же*. Классовое расслоение у чукоч-оленьеводов//СЭ. 1931. № 1—2. С. 93—116; Преображенский П. Ф. Разложение родового строя и феодализационный процесс у туркмен-иомудов//Этнография. 1930. № 4. С. 11—23.
- ²⁰ Токарев С. А. Общественный строй меланезийцев. К вопросу о происхождении классов и государства//Этнография. 1929. № 2. С. 4—46. Богораз В. Г. К вопросу о применении марксистского метода... С. 6—16. Преображенский П. Ф. Указ раб. С. 11—28; Толстов С. П. Проблемы родового общества//СЭ. 1931. № 3—4. С. 69—103.
- ²¹ Венцовский П. Педагогическое изучение нацмен//Просвещение национальностей. 1930. № 7—8. С. 98.
- ²² Там же.
- ²³ Бикчентай И. Очередные задачи нацпедологии//Педология. 1931. № 7—8. С. 32.

²⁴ Шуберт А. М. Опыт педолого-педагогических экспедиций по изучению народов далеких окраин//Педология. 1930. № 2. С. 167—171.

²⁵ Френкель А. Против эклектизма в педологии и психологии//Просвещение национальностей. 1930. № 7—8. С. 108—110; Шуберт А. М. Проблемы педологии национальностей//Просвещение национальностей. 1931. № 3. С. 56—59; Блонский П. О некоторых тенденциях педологического изучения детей различных национальностей//Просвещение национальностей. 1932. № 4. С. 48—50.

²⁶ Л. Н. Большое искусство малых народов//Просвещение национальностей. 1932. № 6. С. 116—121; Месс Л. Искусство северных народностей//Сибирские огни. 1930. № 3. С. 115—121.

²⁷ Цит. по: Bauer R. Op. cit. P. 81.

²⁸ Венцовский П. Указ раб. С. 98.

²⁹ Гасилов Г. О системе народного образования национальных меньшинств РСФСР//Просвещение национальностей. 1929. № 1. С. 31; Блонский П. Указ. раб. С. 48—50.

³⁰ Николаев П. Об одной из задач марксистско-ленинской педагогики//Просвещение национальностей. 1931. № 4. С. 34—40; Против великодержавного шовинизма в педологии//Педология. 1932. № 1. С. 46—49; Бикчентай И. Письма в журнал «Просвещение национальностей». 1932. № 4. С. 102—103.

³¹ Fitzpatrick Sh. Educational and Social Mobility... P. 228—230.

³² Bauer R. Op. cit. P. 83—112.

³³ Маторин Н. М. Современный этап ... С. 20.

³⁴ Там же. С. 21.

³⁵ Резолюция Всероссийского археолого-этнографического совещания 7—11 мая 1932 г.//СЭ. 1932. № 3. С. 12, 13.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С. 14.

³⁸ Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция»//Соч. Т. 13. М., 1951. С. 84—102.

³⁹ О работе в национальных районах Крайнего Севера//Партийное строительство. 1932. № 13. С. 53.

⁴⁰ Итоги Всероссийского археолого-этнографического совещания//СЭ. 1932. № 3. С. 3.

⁴¹ См.: СЭ. 1933—1936.

⁴² Сталин И. В. Указ раб. С. 91—92; см: также Аржанов М. Против люксембургских установок//Революция и национальности. 1932. № 2. С. 88—98. Журнал «Революция и национальности» в № 2 за 1932 г. признал «ошибочной» опубликованную в № 1 за 1930 г. положительную рецензию на популярную книгу Е. Дабкиной «Национальный и колониальный вопрос в царской России» (М., 1930).

⁴³ См. также: О. К. Работа по истории народов СССР//Революция и национальности. 1936. № 5. С. 79—83.

⁴⁴ Хаптаев П. О некоторых особенностях классовой борьбы в национальной деревне//Революция и национальности. 1933. № 2. С. 50.

⁴⁵ Анисимов. О социально-экономических отношениях в охотхозяйстве эвенков//Сов. Север. 1933. № 5. С. 47.

⁴⁶ Данилин А. Секция этнографии Всесоюзного географического съезда//СЭ. 1933. № 2. С. 115.

⁴⁷ Медведев Д. О работе с беднотой и батрачеством на Крайнем Севере//Сов. Север. 1932. № 6. С. 76; Хаптаев П. О некоторых особенностях борьбы... С. 47—55; Данилин А. Указ. раб. С. 113—117; Маслов П. Кочевые объединения единоличных хозяйств в тундре северного края//Сов. Север. 1934. № 5. С. 27—34; Хаптаев П. Об извращениях в вопросах истории Бурято-Монголии//Революция и национальности. 1935. № 7. С. 52—56; Скачко А. Е. Теория и практика в работе среди народов Севера//Сов. Север. 1934. № 6. С. 6—9. Большинство примеров взято мною из области приполярной истории и этнографии, но все советские ученые столкнулись с одной и той же проблемой: «великий перелом» был классовым явлением, следовательно, все прошедшие перелом общества раньше были классовыми. Таким образом, после коллективизации и насильственного оседания кочевников специалисты по Средней Азии создали понятие «кочевой феодализм» (см., например, Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. Л., 1934.; Бернштам А. Проблема распада родовых отношений у кочевников Азии//СЭ. 1934. № 6. С. 86—115; Преображенский П. Ф. Указ. раб.). После обсуждения «антифеодальной» революции в Китае синологи отказались от «азиатского способа производства» (Barber J. Op. cit. P. 56—79; Shtepa K. F. Russian Historians and the Soviet State. New Brunswick, 1962. P. 71—78). И наконец, в результате нового истолкования термина «социализм» («в одной, отдельно взятой стране») историкам пришлось пересмотреть природу русского феодализма и капитализма (Barber J. Op. cit. P. 56—79; Shtepa K. F. Op. cit. P. 78—90; Yares L. The Problem of Periodization//Rewriting Russian History/Ed. С. Е. Black. N. Y., 1956. P. 48—61). Две последние баталии были очень важны для развития советской этнографической теории, но борьба велась на «историческом фронте» и не затронула этнографию как дисциплину.

⁴⁸ Билибин Н. Работа коряцкого краеведческого пункта//Сов. Север. 1932. № 6. С. 102—106; ego же. Батрацкий труд в кочевом хозяйстве коряков//Сов. Север. 1933. № 1. С. 36—46; Скачко А. Е. О социальной структуре малых народов Севера//Там же. С. 39—51; ego же. Теория и практика... С. 5—15; Терлецкий П. К вопросу о пармах Ненецкого округа//Сов. Север. 1934. № 5. С. 35—44; Крылов В. В Пенжинском районе//Сов. Север. 1935. № 1. С. 93.

⁴⁹ Скачко А. Е. О социальной структуре ... С. 51; Билибин Н. Батрацкий труд ... С. 46.

⁵⁰ Драбкина Е. Указ. раб. С. 60; Скачко А. Е. Письмо в редакцию//Сов. Север. 1935. № 3—4. С. 224—226.

⁵¹ От редакции//Сов. этнография. 1936. № 6. С. 3.

⁵² Там же. С. 4—5.

⁵³ Валитов А. М. Педологические извращения в изучении детей националов//Революция и национальности. 1936. № 10. С. 44.

The Fall of Soviet Ethnography: 1928—1938

During the debates on the nature of ethnography in the 1920s an increasing number of young beneficiaries of class-based college quotas attempted to define Marxist ethnography as a truly scientific alternative to the current «bourgeois idealism» and a practical guide in the ongoing war against backwardness. Before they had quite succeeded, however, the discipline's *raison d'être* was questioned by the linguist N. Ya. Marr and his students, who accused ethnography of reifying superstructure at the expense of the base and of divorcing the history of mankind. In the ensuing compromise, «ethnology» was defined as a bourgeois attempt to construct a separate science of culture and outlawed therewith, while practical «ethnography» was endorsed as an aid to collectivizers and the branch of historical materialism dealing with primitive communism. Thus, the ethnographers' usefulness to the building of socialism consisted in their ability to uncover class structures, while their task as scholars was to study societies that by definition had no classes. Their predicament was resolved in 1932, when ethnography as a separate discipline was banned altogether. By then, however, the «Great Transformation» was over, and after several years of pursuing the history of preclass society the gravediggers of ethnography were arrested as wreckers and saboteurs.

Yu. Slezkine.